

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ

МЫСЛИ



Блез Паскаль

Мысли

Серия «Librarium»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67968324

Мысли / Б. Паскаль ; [пер. с фр. Э. Липецкой] : РИПОЛ классик; Москва;

2018

ISBN 9785386105037

Аннотация

«Мысли» — оставшийся незавершенным труд великого французского ученого и философа XVII столетия Блеза Паскаля. Это сочинение, несмотря на свою отрывочность, принадлежит к высшим достижениям человеческого духа. Оно содержит самые глубокие и одновременно самые пронзительные размышления о Боге и людской природе, о цели жизни и смысле смерти.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Выигранное пари веры	5
Общее предуведомление	20
В чем выгода и долг человека: как добиться, чтобы он их постиг и руководствовался ими	20
Пути обращения в истинную веру: призвать людей вслушаться в голос собственного сердца	22
Различие между людскими умами	25
Познание математическое и познание непосредственное	26
Здравомыслие	29
Правила, лежащие в основе суждений.	31
Многообразие и единство	
Правила, лежащие в основе всех языков.	34
Порядочность	
Порядок	42
План	46
Часть первая	47
Предуведомление	47
Глава I	50
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Блез Паскаль

Мысли

Librarium

Перевод с французского Э. Липецкой



**РИПОЛ
КЛАССИК**

© Липецкая Э., наследники, перевод на русский язык, 2018

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018

Выигранное пари веры

Если мы спросим любого француза, кто с наибольшей полнотой выразил в его стране духовную жизнь XVII века, он назовет два имени – Декарта и Паскаля, а только потом уже мастеров классицизма Расина и Корнеля. Классицизм кажется ему уже завершенной эпохой, а Декарт и Паскаль – собеседниками настоящего. Но если для Декарта у среднего француза, специально не учившегося философии, найдется лишь одно слово «философ», то при мысли о Паскале он или она скажет десяток слов: математик, геометр, моралист, спорщик, аскет, ученый и многое другое. Поэтому Паскаль окажется не просто собеседником, скорее, человеком, с которого хочется взять пример? как только ты познакомился с ним, – столь многогранным и откровенным кажется даже по предварительным словесным характеристикам его талант.

А если мы начнем спрашивать о Паскале в разных странах, прямой ясности не найдем. Кто-то вспомнит язык программирования, кто-то – числовой треугольник, кто-то – спор с иезуитами или же теорему с ее необычной формулировкой «круг или любое другое коническое сечение» – непредставимая у Евклида неопределенность. Некоторые прославят Паскаля, не дожившего и до сорока, почти как пророка, упомянут его «Амулет» – загадочное исповедание веры, сохраненное как реликвия. Вероятно, Паскаль был

первым мыслителем, который не только хранил реликвии или критически рассуждал об их природе, но создавал собственные реликвии. Его вычислительная машина, построенная девятнадцатилетним юношей в помощь отцу для ведения сложных налоговых расчетов и облегчения контроля над местными государственными делами, – чем не реликвия для любого математика и информатика? Отец Блеза Этьен входил в созданную Ришельё комиссию по определению географической долготы, от чего прямо зависел выбор способа обработки земли, и невольно создал алгебраическую кривую «Улитка Паскаля» – побочный продукт таких расчетов. Но для сына не существовало ничего побочного: его, Блеза, треугольники, беглые записи, сам его образ болезного и при этом пытливого исследователя тайн – чем не набор реликвий для всей последующей науки?

Блез Паскаль происходил из «дворянства мантии», профессиональных судейских или экономистов, которое хотя и ставилось ниже «дворянства шпаги», доблестных военных, оказалось в какой-то момент нужнее всего централизованному французскому государству. Мы много думаем о классицизме на сцене, поддаваясь обаянию его строгих эффектов и противопоставлений: нам кажется, что на сцене он только и обрел свой дом под названием «три единства». Но по-французски весь XVII век называется эпохой классицизма, а если переводить еще точнее, классическим веком. Идея порядка, создающего новую инфраструктуру страны, идея строи-

тельства коммуникаций, постоянного оживления торговли и администрации благодаря понятности всех торговых путей, идея подчинения стихий целям благополучия всех городов – это тоже классицизм, владевший умами не меньше, чем придворная опера и другие зрелища. В сценических представлениях стихии подчинялись королевской власти как аллегории, иносказания, в реальной жизни само слово «век» становилось универсальным иносказанием благополучия. «Дворянство мантий» оказывалось столь же необходимым элементом государства, как и двор и армия: без него механизмы выгодного общения просто не заработали бы.

Но сам Паскаль был вовлечен вовсе не в хозяйственную деятельность, хотя издали воздавал ей должное. Гениальный математик с первых лет жизни, он интуитивно освоил геометрию: что другим давалось благодаря продуманному в книгах методу преподавания, он схватил как родное. Хотя он, по позднейшему свидетельству своей сестры Жильберты, госпожи Перье, не знал терминов, называя линию палкой, а окружность – колечком, он научился доказывать теоремы, тем самым впервые невольно обосновав, что догадливость в математике важнее упорной работы. Начиная с античности, математика, особенно геометрия, понималась как умение работать со множеством отвлеченных данных, примерно как в современной физике или кибернетике – геометрическая школа, которую еще Платон требовал от своих адептов, учила науке как трудному ремеслу сопоставлений и опи-

саний: даже если легко объяснить, что такое точка или линия, хотя это не физические явления, все равно трудно понять, что такое «отношение». С Паскаля идет представление о «функции», которую можно описать, сразу интуитивно поняв, что за ней стоит. Если «отношение» требует особого созерцания, преодоления себя, умения постигать незримое незримыми средствами, но для «функции» достаточно той пронизательности, которая мерит себя счастливой догадкой строгого доказательства. Мы не можем вообразить бесконечную линию, то можем сказать о бесконечности как функции линии, и тогда мы легко можем доказывать сложные теоремы, просто задумавшись, какие еще функции совместимы с такой странной, как бесконечность.

Математические интуиции Паскаля весьма скоро превратились в физические. В совсем юные годы он принял участие в споре о пустоте, встав на сторону Торричелли, ученика Галилея, и бросив вызов одновременно физике Аристотеля и современной ему иезуитской науке. Согласно Аристотелю, пустота, как лишенная содержания, не может существовать в физическом мире: она может быть абстракцией, но не реальностью. Пустота нужна, чтобы, например, заполнить ее геометрическими телами или числовыми показателями, но пустота, которую нужно сначала расчертить, чтобы заполнить, – это в физике Аристотеля невозможно. Но как Декарт, так и Паскаль занимались как раз расчерчиванием пустоты, ее функции: Декарт, обобщая ренессансные вычис-

ления, вроде сетки Дюрера, создал систему координат, его великий, но почти неизвестный современник и друг Декарт реформировал баллистику, принимая во внимание не только перспективу со стороны орудия, но и особенности траектории, которую не сведешь к готовым геометрическим фигурам. Паскаль, если мы вспомним его уходящий в бесконечность числовой треугольник, уже не просто расчертил пустоту и бесконечность, а показал, что это расчерчивание закономерно не менее, чем сложная траектория снаряда. Найти закономерность функции в уникальном, не сводимом к готовым формам, и одновременно научить соотносить с пустотой и разные предметы, и разные состояния – вот дух французской науки XVII столетия. Поэтому хотя кто-нибудь и заметит, что и треугольник Паскаля, и сетка координат Декарта – развитие идей итальянца Луки Пачоли, ренессансного реформатора бухгалтерского учета, но итальянский математик следовал духу купечества, не возвышающегося над фактами, а Декарт вдохновлялся всегда общением с азартными игроками, легко ставящими на кон любой факт и любую собственную привычку.

Но дерзость двадцатитрехлетнего Паскаля не осталась незамеченной, потому что шла вразрез с тем обновлением метода Аристотеля, который пестовали иезуиты. Паскалю во многом принадлежит заслуга, может быть и случайная, в дискредитации ордена: его позднейшие «Письма к провинциалу», написанные из монастыря Пор-Рояль, должны бы-

ли узавтвить орден как ннкогда. Иезуиты, создавшие первую в мире систему среднего образования, с классами, досками, журналами и оценками, в физике исходили из идеи технической воспроизводимости уникальной жизни природы. Воображение, живопись, наука, даже чудеса – все это было для членов ордена повторением бытия, необходимым для целей проповеди и спасения. С точки зрения иезуитской науки чудо могло быть воссоздано техническими средствами, а техника – захватить воображение на зависть искусству. Поэтому пустоты в этой физике быть не должно было: если пустота просто воспроизводит пространство, то это уже полнота воспроизведения пространства, а вовсе не пустота. Такой мир обступающей со всех сторон образности, мир *arte sacra*, эффектной живописи на священные сюжеты, мир постоянного контроля над мыслями, исповедей и признаний, которые повторяют и исправляют бытие, оказался очень важен для дальнейшей культуры: например, обычай вести дневник косвенно возник из иезуитской практики письменного самоконтроля и сходных духовных занятий. Но Паскалю в таком мире было неуютно, и поэтому его «Мысли о религии и других предметах» вовсе не дневник, а напротив, противоположность дневника.

Паскаль привел такие аргументы в защиту пустоты. Прежде всего, очевидно, что любая вещь обладает какими-то количественными параметрами. Но тогда должна быть и вещь, количество которой равно нулю. Это и есть пустота,

противоположная всем вещам. Затем, вещи не могут только и делать, что стремиться к своей цели, как об этом учил Аристотель: ведь всякая вещь плотна, а значит, вынуждена как-то считаться со своей плотностью. Все вещи оказывают давление друг на друга, стремятся вытеснить друг друга, и только пустота позволяет им как-то расположиться вместе. Наличие у вещи параметров, это можно сказать ее наглость, шумливость, тогда как в пустоте вещи умолкают и дают себя созерцать. Так Паскаль рассуждал об атмосферном давлении, поняв, что воздух обладает густотой и весом не просто так, а потому что толкается среди других предметов. Но одновременно, он открыл совершенно новое созерцание, предельно далекое от театральных впечатлений иезуитской духовности.

Созерцание старого типа в целом было вписано в аристотелевскую физику. Например, наше умение видеть вещи объяснялось наличием в воздухе «прозрачности», специального тела или вещества, которое хочет безупречно передать лучи изображения, не растеряв их по дороге. Тогда созерцание – это умение не растеряться при виде действия: созерцается ли при этом множество человеческих дел, как велел Пифагор, или же жизнь Бога, как наставляли христианские мистики. Но в науке Паскаля нет места никаким «прозрачностям» и прочим желаниям или желанным состояниям материи, поэтому и созерцание становится совсем другим. Это уже созерцание не вещей, не дел, не обстоятельств, а созер-

цание самих условий созерцания.

Классическая культура, заметим, знала созерцание такого типа, но только одно – эротическое, в том смысле, в каком об Эросе говорит «Пир» Платона и другие свидетельства философской любви. Ведь как объяснял Сократ, а за ним и другие, влюбленный ищет не столько овладения своим предметом, сколько возможности самому быть пойманному в сети Эроса. Влюбленный не просто смотрит на любимое лицо, не просто испытывает необоримое желание, но чувствует, как именно вторгшееся в него со страстью желание и оказывается самым желанным. Любовь тогда – не просто даже удовольствие, но сладостная рана, которую чем больше растравляешь, тем больше счастья обретаешь в Эросе. В конце концов, влюбленный любит саму любовь, тревожащую его, но тем самым и созидающую в качестве способного любить.

Новаторство Паскаля состояло в том, что он превратил созерцание условий созерцания из документа эротического приключения, пусть даже самого счастливого за всю жизнь, в норму жизни мыслителя. Если Декарт создал метод радикального сомнения – а напомним, что иезуиты понимали метод риторически, как организацию материала, и только Декарт занялся организацией нематериального материала самой мысли – то Паскаль обосновал еще более изощренный метод: метод радикальной последовательности. Если Декарт считал возможным просто быть честным перед собой, чтобы доказать действительное существование вещей, то Паскаль

учил не бояться даже самых страшных выводов, происходящих из последовательного рассуждения. Наверное, самые известные слова из «Мыслей» Паскаля – о том, как пугает самого говорящего бесконечность миров, рассыпанные по всему бескрайнему космосу светила, между которыми холодные до невозможности расстояния. Чтобы понять, насколько неожиданна была эта мысль Паскаля, мы должны учесть, что звездное небо раньше либо вызывало восторг перед упорядоченностью мира, либо воспитывало искусство навигации. Звездное небо Паскаля пугает именно своей последовательностью, которая длится столько, что способна в концов концов напугать. Оно – прямой предшественник звездного неба по Канту, то есть тоже последовательности мироздания, которая не исключает события так же, как нравственный закон не исключает поступка: но и событие, и поступок ужасают своей непредсказуемостью, и примиряет с ними лишь то, что отсутствие событий и поступков еще более ужасно и непредставимо. Так рассуждения Паскаля о пустоте или о множестве точек выстраивания интуиций превратились в моральный урок, делающий интуицию необходимой частью нравственности.

С Декартом Паскаля конечно, объединяло требование бодрствовать умом, что от Декарта до Канта включительно получило названия пробуждения от метафизического сна или же представлялось как расставание с «естественным» пониманием вещей, которое на самом деле оказывалось вну-

шено воспитанием. Но если у Декарта такое бодрствование ума следовало из единократного разговора с Богом: я не могу солгать себе, значит, Бог не может солгать мне, и значит я есть «я», а не обман о себе, пока мыслю это, – то у Паскаля постоянная беседа с Богом. В ту эпоху распространение получили объемные распятия, со всеми подробностями кровавых мук; но если для иезуитов такое распятие было клятвой, требовавшей принять Евангелие целиком, то для Паскаля – кошмаром, который не дает заснуть: как можно спать, когда Бог в агонии до конца мира. Это, конечно, не физиологическая бессонница, но особое состояние ума, всегда имеющего в виду не только область вещей и область идей, но и начало Вселенной, и Голгофу как начало христианской нравственности, и бытие как начало мучительного разговора с Богом, и Бога как создателя мира, недовольного собой в лице человека и потому искупившего человечество, – и все эти точки отсчета для бесконечных треугольников судеб и стали предметом мысли Паскаля.

Паскаль был янсенистом, приверженцем учения голландского епископа Янсения (того самого, который обличил Ришельё за тридцатилетнюю войну, усилившую позиции протестантов), центром которого служил монастырь Пор-Рояль. Аббат монастыря Антуан Арно создал первую логическую грамматику, в которой вместо оценки правильности речи исследовалась сама возможность правильно строить речь на основе логических категорий: всецело отдать себя логике,

чтобы принять дух грамматического изящества. Янсенисты вспомнили о споре Августина и Пелагия: если Пелагий считал, что человек может спастись просто благодаря хорошим делам, а благодать только освещает ему путь в этом, то Августин напоминал, что ослепительный свет благодати сильнее любых хороших дел. Человек спасается верой, которая настолько неотразима, что добрые дела – это просто привычка того, кто ходит и работает в божественном свете: невозможно же себе поставить в заслугу привычки и пристрастия.

Реформация шла под знаменами Августина, но Паскаль не был согласен с протестантами, что спасение осуществляется верой только в смысле признания всемогущества Бога, перед которым человек настолько теряется, что чувствует себя лишь изделием рук Божиих, которое спасено лишь потому, что Бог положил это изделие в свой запас. Для Паскаля человек был изделием Бога, но не растерянным изделием, ожидающим божественного порядка как милости, а драгоценным изделием. Как сказал русский поэт в XX веке: «Ты держишь меня, как изделие, / И прячешь, как перстень, в футляр». А драгоценное изделие знает себе цену, знает, что оно может оказаться более ценным, чем огромное число окружающих его вещей, что от него так же отсчитывается бытие, как от мысли или замысла, от замысла Бога или от разумности чего-либо происходящего. Здесь Паскаль – предшественник экзистенциализма и всех философских движений, в которых индивид драгоценнее чем весь мир. Но для экзи-

стенциалиста важно доказать, что он дороже всего, что его существование первичнее бытия, тогда как для Паскаля достаточно просто это заметить, не пройти мимо.

Янсенизм учил, что спасение человека – особая милость, не сопоставимая с другими милостями. Обычное доброжелательство восстанавливает человека в правах, но спасение не может быть сведено даже к самому величественному восстановлению. Спасение – это некоторая несомненность, очевидность; причем очевидность, упраздняющая границы между здешней и будущей подсудностью. Конечно, и отцы Церкви тоже порой говорили, что Страшный суд начинается уже сейчас, – имея в виду учет нынешних грехов. Отцы Церкви тем самым исходили из созерцания стройного порядка вещей, который действует по воле Божией. Но в янсенизме впервые этот Страшный суд совершает свою выездную сессию: он происходит в настоящем не потому, что видно, как грех противоречит божественному замыслу, но потому что спасение должно оказаться несомненное любых предметов, избираемых нами для созерцания. – будь то окружающие нас предметы или логически доказываемые предметы иной реальности. Спасение тогда захватывает человека больше, чем даже созерцание, и уже не желает отпустить, разве что грех слишком внушит ему отвращение.

Таким динамизмом янсенизм отличался от более сурового протестантизма, особенно кальвинизма. Для Паскаля иезуиты были новыми учениками Пелагия, беспечными кол-

лекционером указаний ко спасению, а кальвинисты – просто недостаточно творческими людьми, которые не дают спасению экспромтом, нечаянно и наугад, захватить их. В своей правоте он не сомневался: хотя римский папа осуждал яansenистов, на это Арно и Паскаль отвечали, что папа непогрешим в догматах, но не в фактах, потому что любой факт можно исказить и превратить в игрушку. Только спасение – это наш шанс в жизни, которая и есть азартная игра фактами: мир сей играет фактами в кости, но мы должны сорвать свой банк.

Первоначально «Мысли о религии и других предметах» были черновыми набросками будущего сочинения в защиту христианской веры. Монастырский житель Паскаль, обошедший пешком все без исключения церкви Парижа, хотел так же обойти все аргументы, доказывающие преимущества религии разума и сердца над атеизмом. Но вероятно, как в случае кенигсбергских мостов Эйлера (пусть это другой век), церкви можно было обойти, просто растворившись на улицах Парижа (напомню, что последним изобретением Паскаля, внедренным за несколько месяцев до его смерти, была многоместная карета, омнибус, наш автобус, в эластичном сумраке которой так легко раствориться), тогда как аргументы просто взывали к глубинам совести, и вопя, перебивали друг друга – их нельзя было все уместить на плоскость книги. Поэтому мы читаем сейчас «Мысли» как завершенное в его незавершенности произведение.

Хотя «Мысли» Паскаля – это краткие рассуждения на самые разные темы, построение этой незавершенной книги прямо противоположно тому, что в предыдущем, XVI веке предложил читателям Монтень. Монтень стремился тщательно отполировать всякое свое чувство, чтобы у читателя не возникло сомнения в искренности приводимых им доказательств. Искренность Монтеня особая – она не столько в плену литературных условностей изображения характера, сколько искренность действия, в отличие от привычной нам искренности чувства: искренность выпада на рапире. Тогда как Паскаль никогда не хочет представить себя читателю искренним, напротив, он говорит, сколь часто мы все обманываемся не только в ответах на вопросы, но и в постановке этих самых простых вопросов. Именно поэтому из всех античных философских школ Паскаль спорит прежде всего не с эпикурейцами, что мы бы ожидали от аскета, но со стоиками: ведь если эпикурейцы допускали случайность своих рассуждений, стоикам казалось, что все вопросы они поставили правильно, а в противном случае их жизнь не имеет никакого смысла.

В последние годы жизни Паскаль страдал так, как не страдали стоики: посетивший его голландец Христиан Гюйгенс, заочный учитель Ньютона, один из отцов «научной революции» XVII века, нашел его глубоким стариком. Но пока слабело тело, тем больше укреплялась пытливая мысль. Врачи отнимали у Паскаля бумагу, опасаясь, что напряжение рук и

ума преждевременно сведет его в могилу, но он продолжал писать «Мысли» на случайных клочках бумаги. Врачи мыслили организм как сосуд, перенапряжение которого может его повредить, но Паскаль видел в своем теле скорее точку приложения сил, которые в его мыслях проявятся с небывалой полнотой. И сейчас, читая его строки, проникновенные, как детская молитва, и при этом мудрые, как советы век прожившего и век учившегося, мы оказываемся свидетелями этой полноты. Эту полноту русские философы-идеалисты называли «религией сердца», а М. М. Бахтин – диалогизмом. Мы можем назвать ее просто местом поминания Паскаля, никогда не устающего длить с нами разговор.

*Александр Марков,
профессор РГГУ и ВлГУ,
в. н.с. МГУ имени М. В. Ломоносова
19 апреля 2018 г.*

Общее предуведомление Замысел, внутренний порядок и план этого сочинения

В чем выгода и долг человека: как добиться, чтобы он их постиг и руководствовался ими

1. Порядок. – Люди пренебрегают верой; им ненавистна и страшна мысль, что, может статься, в ней содержится истина. Дабы исцелить их от этого, первым делом докажите, что вера ничуть не противоречит разуму, более того, что она достохвальна, и таким путем внушите уважение к ней; затем, показав, что она заслуживает любви, посейте в добродетельные сердца надежду на ее истинность и, наконец, докажите, что она и есть истинная вера.

Вера достохвальна, потому что познала природу человека; вера достойна любви, потому что открывает путь к истинному благу.

2. Для грешников, обреченных вечному проклятию, одним из самых неожиданных ударов будет открытие, что они осуждены своим собственным разумом, на который ссыла-

лись, дерзая осуждать христианскую веру.

3. Две крайности: зачеркивать разум, признавать только разум.

4. Если бы все в мире подчинялось разуму, в христианском вероучении не осталось бы места для того, что в нем таинственно и сверхъестественно; если бы ничто в мире не было подвластно законам разума, христианское вероучение оказалось бы бессмысленным и смехотворным.

Пути обращения в истинную веру: призвать людей вслушаться в голос собственного сердца

5. Предупреждение. – Метафизические доказательства бытия Божия так не похожи на привычные для нас рассуждения и так сложны, что, как правило, не затрагивают людские умы, а если кого-то и убеждают, то лишь на короткое время, пока человек следит за ходом развития этого доказательства, но уже час спустя он начинает с опаской думать, – а не попытка ли это его околпачить. *Quod curiositate cognoverunt superbia amiserunt*¹.

Так происходит с каждым, кто пытается познать Бога, не воззвав к помощи Иисуса Христа, кто хочет без посредника причаститься Богу, без посредника познанному. Меж тем как люди, познавшие Бога через Его Посредника, познали и свое ничтожество.

6. Как это замечательно, что канонические авторы никогда не доказывали бытие Божие, черпая доводы из мира природы. Они просто призывали поверить в Него. Никогда Давид, Соломон и др. не говорили: «В природе не существует пустоты, следовательно, существует Бог». Они несомненно были умнее самых умных из пришедших им на смену и

¹ Что познали из любопытства, то утратили из-за гордыни (лат.).

постоянно прибегавших к подобным доказательствам. Это очень и очень важно.

7. Если все доказательства бытия Божия, почерпнутые из мира природы, неизбежно говорят о слабости нашего разума, не относитесь из-за этого пренебрежительно к Священному Писанию; если понимание подобных противоречий говорит о силе нашего разума, почитайте за это Священное Писание.

8. Не о системе я поведу здесь речь, а о присущих сердцу человека особенностях. Не о ревностном почитании Господа, не об отрешенности от себя, а о руководящем человеческом начале, о корыстных и самолюбивых устремлениях. И так как нас не может не волновать твердый ответ на столь близко касающийся нас вопрос, – после всех жизненных горестей, куда с чудовищной неизбежностью ввергнет нас неминуемая смерть, ежечасно грозящая нам, – в вечность ли небытия или в вечность мук...

9. Всевышний приводит к вере людские умы доводами, а сердца – благодатью, ибо Его орудие – кротость, а вот пытаться обращать умы и сердца силой и угрозами значит поселять в них ужас, а не веру, *terrorem potius quam religionem*².

10. В любой беседе, в любом споре необходимо сохранить за собой право урезонить тех, кто выходит из себя: «А что, собственно говоря, вас возмущает?»

11. Маловеров следует прежде всего пожалеть, – само

² Скорее устрашением, чем поучением (лат.).

это неверие делает их несчастными. Обидные речи были бы уместны, когда бы оно шло им на пользу, но оно идет во вред.

12. Жалеть безбожников, пока они неустанно ищут, – разве бедственное их положение не достойно жалости? Клеймить тех, кто хвалится безбожием.

13. И он осыпает насмешками того, кто ищет? Но кому из этих двоих больше пристало насмешничать? Меж тем ищущий не насмехается, а жалеет насмешника.

14. Изрядный остро слов – дрянной человек.

15. Хотите, чтобы люди поверили в ваши добродетели? Не хвалитесь ими.

16. Жалеть следует и тех и других, но в первом случае пусть эту жалость питает сочувствие, а во втором – презрение.

Различие между людскими умами

17. Чем умнее человек, тем больше своеобразности видит он в каждом, с кем общается. Для человека заурядного все люди на одно лицо.

18. Сколько на свете людей, которые проповедь слушают как обычную вечернюю службу!

19. Существует два рода людей, для которых все едино: праздники и будние дни, миряне и священники, любой грех подобен другому. Но одни делают из этого вывод, что возбраняемое священникам возбраняется и мирянам, а другие – что дозволенное мирянам дозволено и священникам.

20. Всеобщность. – Науки о нравственности и о языке хотя и обособленные, но тем не менее всеобщие.

Познание математическое и познание непосредственное

21. Различие между познанием математическим и непосредственным. – Начала математического познания вполне отчетливы, но в обыденной жизни неупотребительны, поэтому с непривычки в них трудно вникнуть, зато всякому, кто вникает, они совершенно ясны, и только совсем уж дурной ум не способен построить правильного рассуждения на основе столь самоочевидных начал.

Начала непосредственного познания, напротив, распространены и общеупотребительны. Тут нет нужды во что-то вникать, делать над собой усилие, тут потребно всего лишь хорошее зрение, но не просто хорошее, а безупречное, ибо этих начал так много и они так разветвлены, что охватить их сразу почти невозможно. Меж тем пропустишь одно – и ошибка неизбежна: вот почему нужна большая зоркость, чтобы увидеть все до единого, и ясный ум, чтобы, основываясь на столь известных началах, сделать потом правильные выводы.

Итак, обладай все математики зоркостью, они были бы способны и к непосредственному познанию, ибо умеют делать правильные выводы из хорошо известных начал, а способные к непосредственному познанию были бы способны и к математическому, дай они себе труд пристально взглянуть-

ся в непривычные для них математические начала.

Но такое сочетание встречается нечасто, потому что человек, способный к непосредственному познанию, даже и не пытается вникнуть в математические начала, а способный к математическому большей частью слеп к тому, что у него перед глазами; к тому же, привыкнув делать заключения на основе хорошо им изученных точных и ясных математических начал, он теряется, столкнувшись с началами совсем иного порядка, на которых зиждется непосредственное познание. Они еле различимы, их скорее чувствуют, нежели видят, а кто не чувствует, того и учить вряд ли стоит: они так тонки и многообразны, что лишь человек, чьи чувства утонченны и безошибочны, в состоянии уловить и сделать правильные, неоспоримые выводы из подсказанного чувствами; притом зачастую он не может доказать верность своих выводов пункт за пунктом, как принято в математике, ибо начала непосредственного познания почти никогда не выстраиваются в ряд, как начала познания математического, и подобного рода доказательство было бы бесконечно сложно. Познаваемый предмет нужно охватить сразу и целиком, а не изучать его постепенно, путем умозаключений – на первых порах, во всяком случае. Таким образом, математики редко бывают способны к непосредственному познанию, а познающие непосредственно – к математическому, поскольку математики пытаются применить математические мерки к тому, что доступно лишь непосредственному познанию, и прихо-

дят к абсурду, ибо желают во что бы то ни стало сперва дать определения, а уж потом перейти к основным началам, меж тем для данного предмета метода умозаключений непригодна. Это не значит, что разум вообще от них отказывается, но он их делает незаметно, непринужденно, без всяких ухищрений; внятно рассказать, как именно происходит эта работа разума, никому не под силу, да и ощутить, что она вообще происходит, доступно очень немногим.

С другой стороны, когда перед человеком, познающим предмет непосредственно и привыкшим охватывать его единым взглядом, встает проблема, ему совершенно непонятная и требующая для решения предварительного знакомства со множеством определений и непривычно сухих начал, он не только устрашается, но и отвращается от нее.

Что касается дурного ума, ему равно недоступно познание и математическое, и непосредственное.

Стало быть, ум сугубо математический будет правильно работать, только если ему заранее известны все определения и начала, в противном случае он сбивается с толку и становится невыносим, ибо правильно работает лишь на основе совершенно ясных ему начал.

А ум, познающий непосредственно, не способен терпеливо доискиваться первоначал, лежащих в основе чисто спекулятивных, отвлеченных понятий, с которыми он не сталкивался в обыденной жизни и ему непривычных.

Здравомыслие

22. Разновидности здравомыслия: иные люди здраво рассуждают о явлениях определенного порядка, но начинают нести вздор, когда дело касается всех прочих явлений.

Одни умеют делать множество выводов из немногих начал, – это свидетельствует об их здравомыслии.

Другие делают множество выводов из явлений, основанных на множестве начал.

К примеру, некоторые правильно выводят следствия из немногих начал, определяющих свойства воды, но для этого нужно отличаться незаурядным здравомыслием, потому что следствия эти почти неуловимы.

Но это отнюдь не означает, что все, способные к таким выводам, – хорошие математики, ибо математика включает в себе множество начал, а бывает ум такого склада, что он способен постичь лишь немногие начала, но зато до самой их глубины, меж тем как явления, основанные на многих началах, для него непостижимы.

Стало быть, существуют два склада ума: один быстро и глубоко постигает следствия, вытекающие из того или иного начала, – это ум проницательный; другой способен охватить множество начал, не путаясь в них, – это ум математический. В первом случае человек обладает умом сильным и здоровым, во втором – широким, и далеко не всегда эти свойства со-

четаются: сильный ум в то же время может быть ограниченным, широкий ум – поверхностным.

23. Кто привык судить обо всем по подсказке чувств, тот ничего не смыслит в логических умозаключениях, потому что стремится с первого взгляда вынести суждение об исследуемом предмете и не желает вникать в начала, на которых он зиждется. Напротив того, кто привык вникать в начала, тот ничего не смыслит в доводах чувств, потому что прежде всего старается выделить эти начала и не способен одним взглядом охватить весь предмет.

Правила, лежащие в основе суждений. Многообразие и единство

24. Суждение математическое, суждение непосредственное. – Истинное красноречие пренебрегает красноречием, истинная нравственность пренебрегает нравственностью, – иными словами, нравственность, выносящая суждения, пренебрегает нравственностью, идущей от ума и не ведающей правил.

Ибо суждению в той же мере присуще чувство, в какой научные выкладки присущи разуму. Непосредственное познание присуще суждению, математическое – разуму.

Пренебрежение философствованием и есть истинная философия.

25. Кто судит о произведении, не придерживаясь никаких правил, по сравнению с человеком, эти правила знающим, все равно что не имеющий часов по сравнению с человеком при часах. Первый заявит: «Прошло два часа», другой возразит: «Нет, только три четверти часа», а я посмотрю на часы и отвечу первому: «Вы, видно, сучаете», – и второму: «Время для вас летит», потому что прошло полтора часа. А если мне скажут, что для меня оно тянется и вообще мое суждение основано на прихоти, я только посмеюсь: спорщики не знают, что оно основано на показаниях часов.

26. Чувство так же легко развратить, как ум.

И ум, и чувство мы совершенствуем или, напротив того, развращаем, беседуя с людьми. Стало быть, иные беседы нас развращают, иные – совершенствуют. Значит, следует тщательно выбирать собеседников; но это невозможно, если ум и чувство еще не развиты или не развращены. Вот и получается заколдованный круг, и счастлив тот, кому удастся выскочить из него.

27. Природа разнообразит и повторяет, искусство повторяет и разнообразит.

28. Различия столь многообразны, что и звучание голов, и походка, и покашливание, и сморкание, и чих... Мы умеем различать сорта винограда, различим среди других, скажем, мускат: тут кстати вспомнить Дезарга, и Кондрие, и всем известную прививку. Но разве этим вопрос исчерпывается? Хоть раз произвела ли лоза две одинаковые кисти? А в кисти бывают ли две одинаковые виноградины? И т. д.

Я не способен дважды одинаково судить об одном и том же предмете. Я не судья своему собственному сочинению, пока его пишу: мне, наподобие художника, надобно отойти от него на какое-то расстояние, но не слишком большое. А все-таки на какое именно? Догадайтесь.

29. Многообразие. – Богословие – это наука, но сколько в ней одновременно сочетается наук! Человек слагается из множества частей, но, если его расчленить, окажется ли человеком каждая его часть?

Голова, сердце, вены, каждая вена, каждый ее отрезок,

кровь, каждая ее капля?

Город или деревня издали кажутся городом или деревней, но стоит подойти ближе – и мы видим дома, деревья, черепичные крыши, листья, травы, муравьев, муравьиные ножки, и так до бесконечности. И все это заключено в слове «деревня».

30. Любой язык – это тайнопись, и, чтобы постичь неизвестный нам язык, приходится заменять не букву буквой, а слово словом.

31. Природа повторяет себя: зерно, посеянное в тучную землю, плодоносит; мысль, посеянная в восприимчивый ум, плодоносит; числа повторяют пространство, хотя так от него отличны.

Все создано и ведомо Единым Творцом: корни, ветви, плоды, причины, следствия.

Правила, лежащие в основе всех языков. Порядочность

32. Я равно не выношу и любителей шутовства, и любителей напыщенности: ни тех, ни других не изберешь себе в друзья. – Только тот полностью доверяет своим ушам, у кого нет сердца. Порядочность – вот единственное мерило. Поэт, но порядочный ли человек? – Красота недоговоренности, здравого суждения.

33. Мы браним Цицерона за напыщенность, меж тем у него есть почитатели, и в немалом числе.

34. (Эпиграммы.) – Эпиграмма на двух кривых никуда не годится, потому что она их ничуть не утешает, а вот автору приносит толику славы. Все, что идет на потребу только автору, никуда не годится. *Ambitiosa recidet omamenta*³.

35. Если бы молния ударяла в низины, поэты и вообще любители порассуждать о подобных предметах стали бы в тупик из-за отсутствия доказательных объяснений.

36. Когда читаешь сочинение, написанное простым, натуральным слогом, невольно удивляешься и радуешься: думал, что познакомишься с автором, и вдруг обнаружил человека! Но каково недоумение людей, наделенных хорошим вкусом, которые надеялись, что, прочитав книгу, познакомятся

³ Излишнюю пышность урежет (лат.).

с человеком, а познакомились только с автором! Plus poetice quam humane locatus es⁴. Как облагораживают человеческую натуру люди, умеющие внушить ей, что она способна говорить обо всем, даже о богословии!

37. Между нашей натурой – неважно, слабая она или сильная, – и тем, что нам нравится, всегда есть некое сродство, которое лежит в основе нашего образца приятности и красоты.

Все, что отвечает этому образцу, нам приятно, будь то напев, дом, речь, стихи, проза, женщина, птицы, деревья, реки, убранство комнат, платье и пр. А что не отвечает, то человеку с хорошим вкусом нравиться не может.

И подобно тому, как есть глубокое сродство между домом и напевом, сотворенными в согласии с этим единственным и прекрасным образцом, ибо они напоминают его, хотя и дом, и напев сохраняют свою особливость, так есть сродство и между всем, что создано по дурному образцу. Это вовсе не означает, будто дурной образец тоже один-единственный, напротив того, их великое множество, но, к примеру говоря, между дрянным сонетом, какому бы дурному образцу он ни следовал, и женщиной, одетой по этому образцу, всегда есть разительное сходство.

Чтобы понять, до какой степени смехотворен дрянной сонет, довольно уяснить себе, какой натуре и какому образцу он соответствует, а затем представить себе дом или женский

⁴ Ты говорил скорее как поэт, нежели как человек (лат.).

наряд, сотворенный по этому образцу.

38. Поэтическая красота. – Раз уж мы говорим «поэтическая красота», следовало бы говорить и «математическая красота», и «лекарская красота», но так не говорят, и причина этому в следующем: все отлично знают, какова суть математики и что состоит она в доказательствах, равно как знают, в чем суть лекарства и что состоит она в исцелении, но не знают, в чем состоит та самая приятность, в которой и заключается суть поэзии. Никто не знает, каков он, тот присущий природе образец, которому следует подражать, и, чтобы восполнить сей пробел, придумывают самые замысловатые выражения – например, «золотой век», «чудо наших дней», «роковой» и тому подобное – и называют сие ни с чем не сообразное наречие «поэтическими красотами».

Но представьте себе женщину, разряженную по такому образцу – а состоит он в том, что любой пустяк облекается в пышные слова, – и вы увидите красотку, увешанную зеркальцами и цепочками, и не сможете не расхохотаться, ибо куда понятнее, какой должна быть приятная на вид женщина, чем какими должны быть приятные стихи. Но люди неотесанные станут восхищаться обликом этой женщины, и найдется немало деревень, где ее примут за королеву. Поэтому-то мы и называем сонеты, скроенные по этому образцу, «первыми на деревне».

39. В свете не прослыть знатоком поэзии, если не повесить вывески «поэт», «математик» и т. д. Но человек всесторон-

ний не желает никаких вывесок и не делает разницы между ремеслом поэта и золотошвея.

К человеку всестороннему не пристаёт кличка «поэт» или «математик»: он и то и другое и может судить о самых разных предметах. В нем ничто не бросается в глаза. Он может принять участие в любой беседе, завязавшейся до его прихода. Никто не замечает его познаний в той или иной области, пока в них не появляется надобность, но уж тут о нем немедленно вспоминают, ибо он из того сорта людей, о которых никто не скажет, что они красноречивы, пока не заговорят о красноречии, но стоит заговорить – и все начинают восхвалять красоту их речей.

Стало быть, когда при виде человека первым делом вспоминают, что он понаторел в поэзии, это отнюдь не похвала; с другой стороны, если речь идет о поэзии и никто не спрашивает его мнения, это тоже дурной знак.

40. Хорошо, когда, назвав кого-то, забывают прибавить, что он «математик», или «проповедник», или отличается красноречием, а просто говорят: «Он – порядочный человек». Мне по душе лишь это всеобъемлющее свойство. Я считаю дурным признаком, когда, при взгляде на человека, все сразу вспоминают, что он написал книгу: пусть столь частное обстоятельство приходит на ум лишь в случае, если речь заходит именно об этом обстоятельстве (*Ne quid nimis*⁵): иначе оно подменит собой самого человека и станет именем

⁵ Ни в чем излишка (лат.).

нарицательным. Пусть о человеке говорят, что он – искусный оратор, когда разговор касается ораторского искусства, но уж тут пусть не забывают о нем.

41. У человека множество надобностей, и расположен он лишь к тем людям, которые способны их уболагорворить – все до единой. «Такой-то – отличный математик», – скажут ему про имярек. «А на что мне математик? Он, чего доброго, примет меня за теорему». – «А такой-то – отличный полководец». – «Еще того не легче! Он примет меня за осажденную крепость. А я ишу просто порядочного человека, который постарается сделать для меня все, в чем я нуждаюсь».

42. (Всего понемногу. Уж если невозможно быть всеведущим и досконально знать все обо всем, следует знать всего понемногу. Ибо куда лучше иметь частичные знания, но обо всем, чем доскональные – о какой-нибудь частице: всеохватывающие знания прѣдпочтительней. Разумеется, всего лучше знать все вообще и в частности, но если приходится выбирать, следует выбрать знания всеохватывающие, и светские люди это понимают и к этому стремятся, ибо светские люди зачастую – неплохие судьи.)

43. Доводы, до которых человек додумался сам, обычно кажутся ему куда более убедительными, нежели те, что пришли в голову другим.

44. Внимая рассказу, со всей подлинностью живописующему какую-нибудь страсть или ее последствия, мы в самих себе находим подтверждение истинности услышанного, хо-

тя до сих пор ничего подобного как будто не испытывали, и вот начинаем любить того, кто помог нам все это прочувствовать, ибо речь идет уже не о его достоянии, а о нашем собственном; таким образом, мы проникаемся приязнью к нему за его достойный поступок, не говоря уже о том, что подобное взаимопонимание всегда располагает к любви.

45. Реки – это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь.

46. Язык. – Отвлекать ум от начатого труда следует единственно для того, чтобы дать ему отдых, да и то отнюдь не когда вздумается, а когда нужно, когда для этого пришло время: отдых, если он не вовремя, утомляет и, значит, отвлекает от труда; вот как хитро плотская невоздержанность принуждает нас делать обратное тому, что требуется, и при этом не платит ни малейшим удовольствием – той единственной монетой, ради которой мы готовы на все.

47. Красноречие. – Существенное следует сочетать с приятным, но и приятное следует черпать в истинном, и только в истинном.

48. Красноречие – это живописное изображение мысли; поэтому, если, выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черты, он создает уже не портрет, а картину.

49. Разное. Язык. – Кто, не жалея слов, громоздит антитезы, тот уподобляется зодчему, который ради симметрии изображает ложные окна на стене: он думает не о правильном выборе слов, а о правильном расположений фигур речи.

50. Симметрия, воспринимаемая с первого взгляда, основана и на том, что нет резона обходиться без нее, и на том, что телосложение человека тоже симметрично; именно поэтому мы привержены к симметрии в ширину, но не в глубину и высоту.

51. Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинство, а слова – мыслям. Найти примеры.

52. Скрывать мысль и надевать на нее личину. Уже не король, не Папа, не епископ, а «августейший монарх» и пр., не Париж, а «стольный град державы». В одних кругах принято называть. Париж Парижем, а в других – непременно стольным градом.

53. «Карета опрокинулась» или «карета была опрокинута» – в зависимости от смысла. «Полить» или «налить» – в зависимости от намерения.

(Речь г-на Леметра в защиту человека, насильственно посвященного в монахи Ордена кордельеров.)

54. «Прихвостень власть имущих» – так способен сказать только тот, кто сам прихвостень; «педант» – только тот, кто сам педант; «провинциал» – только тот, кто сам провинциал, и я готов биться об заклад, что это словцо в заголовке книги «Письма к провинциалу» тиснул сам типограф.

55. Разное. – Ходячее выражение: «Мне явилась охота взяться за это».

56. «Открывательная» способность ключа, «притягатель-

ная» – крючка.

57. Разгадать смысл: «Мое участие в этой вашей неприязности». Г-н кардинал вовсе не стремился быть разгаданным. – «Мой дух преисполнен тревоги». «Я встревожен» – куда лучше.

58. Мне становится не по себе от таких вот любезностей: «Я причиняю вам слишком много хлопот, я так боюсь, что наскучил вам, я так боюсь, что посягаю на ваше драгоценное время». Либо сам начинаешь так говорить, либо раздражаешься.

59. Что за дурная манера: «Простите меня, сделайте милость!» Когда бы не эта просьба о прощении, я не заметил бы ничего обидного для себя. «Извините за выражение...» Дурно здесь только извинение.

60. «Погасить пылающий факел восстания» – слишком пышно. «Тревога его гения» – два лишних слова, к тому же весьма смелых.

61. Порою, подготовив некое сочинение, мы замечаем, что в нем повторяются одни и те же слова, пытаемся их заменить и все портим, настолько они были уместны: это знак, что все нужно оставить как было; пусть себе зависть злорадствует, она слепа и не понимает, что повторение не всегда порок, ибо единого правила тут не существует.

62. Иные люди хорошо говорят, а вот пишут не очень хорошо. Обстановка и слушатели разжигают их ум, и он работает куда живее, чем когда этого топлива нет.

Порядок

63. Лишь кончая писать задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать.

64. Говоря о своих сочинениях, иные авторы то и дело твердят: «Моя книга, мое толкование, мой труд по истории» – и тому подобное. Точь-в-точь как те выскочки, которые обзавелись собственным домом и не устают повторять: «Мой особняк». Лучше бы говорили: «Наша книга, наше толкование, наш труд по истории», потому что, как правило, там больше чужого, нежели их собственного.

65. Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового: ново само расположение материала; игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но с неодинаковой меткостью.

С тем же успехом меня можно корить за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит по-иному расположить одни и те же мысли – и получается новое сочинение, равно как, если по-иному расположить одни и те же слова, получится новая мысль.

66. Стоит изменить порядок слов – меняется их смысл, стоит изменить порядок мыслей – меняется впечатление от них.

67. Доказывая какое-нибудь свое утверждение, люди прибегают к помощи примеров, ну а случись у них надобность доказать несомненность этих примеров, они прибегли бы

к новым примерам, ибо каждый считает сложным только то, что он желает доказать, меж тем примеры просты и все объясняют. Вот почему, доказывая любое общее положение, следует подводить его под правило, выведенное из частного случая, а доказывая любой частный случай, следует начинать с общего правила. Ибо всем кажется тёмным лишь то, что они собираются доказать, а доказательства, напротив, — совершенно ясными, хотя подобная уверенность — плод Сложившегося предубеждения: раз что-либо требует доказательства, значит, оно темно, тогда как доказательства совершенно ясны и, следовательно, общепонятны.

68. Порядок. — Почему я должен согласиться с тем, что моя нравственность состоит из четырех частей, а не из шести? Почему должен считать, что в добродетели их четыре, а не две, не одна-единственная? Почему «*Abstine et sustine*»⁶ предпочтительнее, нежели «Следовать природе», или платоновского «Делай свое дело, не творя несправедливостей», или еще чего-нибудь в таком роде? «Но ведь все это, — возразите вы, — может быть выражено единым словом». Вы правы, но если его не объяснить, оно бесполезно, а едва начинаешь объяснять, растолковывать оное правило; содержащее в себе все остальные, как они незамедлительно выходят из его границ и образуют ту самую путаницу, которой вы хотели избежать. Таким образом, когда все правила заключены в одном, они бесполезны, они словно запрятаны в сундук, а

⁶ Воздерживайся и терпи (лат.).

наружу выходят в природной своей запутанности. Природа установила их, но при этом одно не вытекает из другого.

69. Природа каждую из своих истин ограничила ее собственными пределами, а мы изо всех сил стараемся их совместить и таким образом идем против природы: у всякой истины есть свое место.

70. Порядок. – Я развил бы рассуждение о порядке примерно так: чтобы стала ясна тщета любых усилий человеческого существования, ясно показать тщету жизни обыденной, а затем – жизни, согласной с философией пирроников, стоиков; но порядка в ней все равно не будет. Я более или менее знаю, каким он должен быть и сколь мало на свете людей, обладающих этим знанием. Ни одна наука, созданная людьми, не смогла его соблюсти. Не смог его соблюсти и святой Фома. Есть порядок в математике, но, при всей своей глубине, она бесполезна.

71. Пирронизм. – Я решил записать, здесь свои мысли, притом не соблюдая никакого порядка, и эта чересполосица будет, возможно, намеренной: в ней-то и заложен настоящий порядок, который с помощью этого самого беспорядка выявит суть трактуемого мною предмета. Я оказал бы ему слишком много чести, если бы изложил свои мысли в строгом порядке, меж тем как моя цель – доказать, что никакого порядка в нем нет и быть не может.

72. Порядок. – Против утверждения, будто в изложении Священного Писания нет порядка. У сердца свой порядок,

у разума – свой, основанный на доказательствах неких главных положений: порядок, присущий сердцу, совсем другого свойства. Никто не станет доказывать, что именно его должно любить, выстраивая в строгом порядке причины одного долженствования, – это было бы смехотворно.

У Иисуса Христа, у святого Павла свой порядок в проповеди милосердия, ибо их цель – не учительство, а возжигание огня в людских душах. Точно так же и у Блаженного Августина. Порядок этот основан на постоянных отступлениях от главной темы, чтобы, неизменно возвращаясь к ней в конце, крепче ее запечатлеть.

План

73. Первая часть. – Горестное ничтожество человека, который не обрел Бога.

Вторая часть. – Блаженный удел человека, который обрел Бога.

Или иначе:

Первая часть: О растленности природы. Самое себя растлившей.

Вторая часть: О возможности искупления. С помощью Священного Писания.

74. В земном нашем пределе все без исключения носит печать либо горестного ничтожества человека, либо милосердия Господня, либо бессилия человека, не обретшего Бога, либо силы человека, который Бога обрел.

75. Кто познал Бога, но не познал всего своего горестного ничтожества, тот впадает в гордыню. Кто познал все свое горестное ничтожество, но не познал Бога, тот впадает в отчаянье. Кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в Нем мы явственно видим и Бога, и наше собственное горестное ничтожество.

Часть первая

Человек, не познавший Бога

Предуведомление

76. Предуведомление к первой части. – Рассказать о тех, кто излагал свои взгляды на самопознание; о множестве частей, на которые его дробил Шаррон, нагоняя на читателей уныние и скуку; о путанице у Монтеня: о том, что он чувствовал отсутствие [правильной] методы; что обходил ее, перескакивая с предмета на предмет; что искал ветра в поле.

Его нелепейший замысел нарисовать собственный портрет! И притом не мимоходом, вступая в противоречие с собственными своими изречениями – от такого промаха никто не огражден, – но в согласии с этими самыми изречениями, вполне обдуманно и убежденно. Ибо если говорить нелепицы просто так, по недомыслию, – людской порок из самых заурадных, то как же он нестерпим, когда их говорят обдуманно, да еще такие!..

77. Монтень. – Велики недостатки Монтеня. Грязные слова – они отвращают, сколько бы ни защищала их мадемуазель де Гурне. Легковен: «безглазые люди». Невежествен: «квадратура круга, еще больший мир». Его отношение к са-

моубийству, к смерти. Он возвращает пренебрежительное отношение к спасению души – «без страха и раскаяния». Его книга вовсе не должна направлять читателей на путь благочестия, ибо не ради этого она была написана, но в любом случае автор обязан не отвращать от него. Можно снисходительно отнестись к слишком вольным и сладострастным порывам чувств Монтеня в известных житейских обстоятельствах, но нельзя быть снисходительным к совершенно языческим чувствам, которые рождает в нем мысль о смерти, ибо кто не желает хотя бы умереть по-христиански, тот на чисто лишен благочестия; ну, а судя по книге Монтеня, ее создатель только и жаждал что трусливо-бездумной смерти.

78. Достоинства Монтеня обрести очень нелегко. А недостатки – я говорю не о нравственных правилах – Монтень исправил бы шутя, укажи ему кто-нибудь, что он рассказывает слишком много побасенок и слишком много говорит о себе.

79. Не в Монтене, а во мне самом содержится все, что я в нем вычитываю.

80. Я потратил много времени на изучение отвлеченных наук и потерял к ним вкус – так мало они дают знаний. Потом, когда я начал изучать человека, мне стало ясно, что отвлеченные науки вообще не имеют к нему никакого отношения и что, занимаясь ими, я еще хуже разумею, каково оно, истинное мое место в этом мире, нежели те, кто ничего в них не смыслит. И я простил людям их неведение. Однако

я полагал, что многие, подобно мне, погружены в изучение человека, да иначе оно и быть не может. Я ошибался: даже геометрией – и той занимаются охотнее. Впрочем, и к ней, и к другим наукам обращаются главным образом потому, что не знают, как приступить к изучению самих себя. Но вот о чем стоит задуматься: а нужна ли человеку и эта наука, не будет ли он счастливее, вообще ничего о себе не зная?

81. Познаем самих себя: пусть при этом мы не обречем истину, зато хотя бы наведем порядок в собственной жизни, а для нас это дело насущное.

82. Людей учат чему угодно, только не порядочности, меж тем всего более они стремятся блеснуть именно порядочностью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали.

83. Того, кто обратится в истинную веру. Господь исцелит и одарит прощением. «*Ne convertantur et sanem cos*»⁷, Исайя; «*...et dimittantur eis peccata*»⁸, Марк IV.

⁷ Не обратятся, чтобы Я исцелил их (лат.).

⁸ И прощены будут им грехи (лат.).

Глава I

Место человека в лоне природы: две бесконечности

84. Несоразмерность человека. – Вот куда приводит нас познание природы. Если в нем не заложена истина, стало быть, нет истины и в человеке, а если заложена, как тут не преисполниться смирения, хоть в какой-то мере не ощутить своей малости. А поскольку человек просто не может жить, не веря в эту истину, я настоятельно прошу его: прежде чем он углубится в еще более доскональное изучение природы, пусть хоть раз пристально и не спеша всмотрится в нее, пусть всмотрится и в самого себя и, поняв, как соразмеряется... Пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее высоком и неохватном величии, пусть отвратит взоры от ничтожных предметов, его окружающих. Пусть взглянет на ослепительный светоч, как неугасимый факел, озаряющий Вселенную; пусть уразумеет, что Земля – всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило; пусть потрясется мыслью, что и сама эта огромная орбита – не более чем еле приметная черточка по отношению к орбитам других светил, текущих по небесному своду. Но так как кругозор наш этим и ограничен, пусть воображение летит за рубежи видимого; оно утомится, далеко не исчерпав

природу. Весь зримый мир – лишь едва приметный штрих в необъятном лоне природы. Человеческой мысли не под силу охватить ее. Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших пространственных представлений, все равно в сравнении с сущим мы порожаем только атомы. Вселенная – это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, окружность – нигде. И величайшее из доказательств всемогущества Господня в том, что перед этой мыслью в растерянности застывает наше воображение.

А потом, вновь обратившись к себе, пусть человек сравнит свое существо со всем сущим; пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной, и, выглядывая из тесной тюремной камеры, отведенной ему под жилье, – я имею в виду весь зримый мир, – пусть уразумее, чего стоит вся наша Земля с ее державами и городами и, наконец, чего стоит он сам. Человек в бесконечности – что он значит?

Ну, а чтобы предстало ему не меньшее диво, пусть взглянется в одно из мельчайших существ, ведомых людям. Пусть взглянется в крохотное тельце клеща и еще более крохотные члены этого тельца, пусть представит себе его ножки со всеми суставами, со всеми жилками, кровь, текущую по этим жилкам, соки, ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в этих каплях; пусть и дальше разлагает эти частицы, пока не иссякнет его воображение, и тогда рассмотрим предел, на котором он запнулся. Возможно, он решит, что уж меньшей величины в природе не существует, а я хочу пока-

зять ему еще одну бездну. Хочу ему живописать не только видимую Вселенную, но и безграничность мыслимой природы в пределах одного атома. Пусть он узрит в этом атоме неисчислимыя вселенныя, и у каждой – свой небосвод, и свои планеты, и своя Земля, и те же соотношения, что и в нашем видимом мире, и на этой Земле – свои животные и, наконец, свои клещи, которых опять-таки можно делить, не зная отдыха и срока, пока не закружится голова от этого второго чуда, столь же поразительного в своей малости, сколь первое – в своей огромности; ибо как не потрястись тем, что наше тело, такое неприметное во Вселенной, являет собой на лоне сущего, вопреки этой своей неприметности истинного колосса, целый мир, вернее, все сущее в сравнении с небытием, которое так и остается непостижимым для нас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.